

Л.Я. Шнейберг, И.В.Кондаков

Быть или иметь? (Вокруг рассказа «Матренин двор»)

Солженицын писал в своих «очерках литературной жизни» «Бодался теленок с дубом»:

«Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот это его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее».

Дело было, конечно, именно в том, что основу повествования у Солженицына составила трагическая судьба русского крестьянства, заключающая в себе не один, а множество реалистических сюжетов, человеческих характеров, судеб, переживаний, мыслей, поступков — практически неисчерпаемое. В этом отношении интересен рассказ «раннего» Солженицына — «Матренин двор», одно из тех литературных произведений, что положило начало такому крупному, исторически значительному явлению русской литературы XX века, как «деревенская проза».

Первоначальное название рассказа было «Не стоит село без праведника». При публикации произведения Солженицына в «Новом мире» (1963, № 1) Твардовский дал ему более прозаическое, заземленное название — «Матренин двор», и писатель (редкий случай!) согласился с переменной заглавия.

Рассказ был внешне совсем непритязательный. От лица сельского учителя математики (за которым легко угадывался сам автор: Игнатич — Исаич), вернувшегося из мест весьма отдаленных в 1956 году (по требованию цензуры время действия было изменено на 1953, дохрущевский год, соответственно редакция «Нового мира» вынудила автора переделать начало рассказа), описывается среднерусская деревня (впрочем, не какая-нибудь «глубинка» — 184 километра от Москвы!), какой она была после войны и какой оставалась десятилетие спустя. И никакой особенной критики разваленного колхозного житья или обличения бездарной советской системы хозяйствования (то есть все это у Солженицына было, но как бы не специально, а между строк). Главное в рассказе — повествование о бедной событиями, а тем более радостями, жизни пожилой крестьянки Матрены Васильевны Григорьевой, жизни, по общему мнению ее родственников и соседей, несурьезной, несчастливой, никчемной, и о ее нелепой и страшной смерти на железнодорожном переезде. Тем не менее именно этот рассказ Солженицына был первый подвергнут критической атаке.

На новое произведение Солженицына сразу же откликнулся известный в то время прозаик, автор советских бестселлеров 60-х годов «Щит и меч» и «Знакомьтесь, Балув!» Вадим Кожевников. В статье «Товарищи в борьбе» (парафраз на тему революционной песни «Смело, товарищи, в ногу...») ревностный поборник соцреализма писал:

«Наука радости — неотъемлемое качество нашей литературы, выражение ее глубочайшего оптимизма. Правда, в последнее время, мне кажется, на страницах наших журналов появляется слишком много “сварливых” рассказов и повестей. В них — упрощенный показ человека, в них — “новаторство” лишь ради того, чтобы затруднить восприятие не слишком серьезного содержания. Признаться, я испытал чувство большой душевной горечи, когда прочел в “Новом мире” рассказ “Матренин двор” А. Солженицына, создавшего такое замечательное произведение, как “Один день Ивана Денисовича”. Мне кажется, что рассказ “Матренин двор” написан автором в том состоянии, когда он еще не мог глубоко понять жизнь народа, движение и реальные перспективы этой жизни. Такие люди, как Матрена, в первые послевоенные годы действительно пахали на себе в разоренных немцами деревнях. Советское крестьянство совершило великий подвиг в тех ус-

ловиях и дало хлеб народу, накормило страну. Это одно должно вызвать чувство благоговения и восхищения. Рисовать советскую деревню как бунинскую деревню в наши дни — исторически неверно. Рассказ Солженицына снова и снова убеждает: без видения исторической правды, ее сущности не может быть и полной правды, каков бы ни был талант.

Традиции литературы критического реализма не могут быть механически перенесены на нашу почву. Иначе — манера повествования главенствует над смыслом и образ иной, уже далекой, мертвой эпохи овладевает писателем. И вот, даже помимо авторской воли, когда писатель пытается изображать нашу действительность, исходя из принципов критического реализма, возникает исторически неверная перспектива».

Другой критик рассказа — публицист В. Полторацкий, оттолкнувшись от конкретных примет, изложенных в рассказе Солженицына, вычислил, что примерно в том районе, где жила героиня рассказа Матрена, находится передовой колхоз «Большевик», о достижениях и успехах которого и поведал в газете в подробностях. Но журналист не ограничился задачами своей корреспонденции с колхозных полей, да и задача, которую он преследовал, не исчерпывалась репортажем. Полторацкий стремился наглядно продемонстрировать на своем примере, *как надо* писать о советской деревне и *как не надо* это делать:

«Думается мне, что тут дело в позиции автора — куда глядеть и что видеть. И очень жаль, что именно талантливый человек выбрал такую точку зрения, которая ограничила его кругозор старым забором Матрениного двора. Выгляни он за этот забор — и в каких-нибудь двадцати километрах от Тальнова увидел бы колхоз “Большевик” и мог бы показать нам праведников нового века...»

Хотя партийный публицист еще называет Солженицына «талантливым человеком», но автору рассказа уже недвусмысленно указано: талант, *дурно* направленный, *не туда*, куда надо, смотрящий, *не то*, что нужно, видящий; рассказ — явная ошибка.

Комментируя замечания и упреки, высказанные Полторацким, Солженицын ехидно записал: рассказ «Матренин двор» «первый подвергнут атаке в советской прессе. В частности, автору указывалось, что не использован опыт соседнего зажиточного колхоза, где председателем Герой Социалистического Труда. Критика не доглядела, что он и упоминается в рассказе как уничтожитель леса и спекулянт». В самом деле, в рассказе написано, и зло: «А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непроходимые леса. Потом их вырубил — торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыв в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда». Вряд ли «праведником нового века» мог представить этого председателя суровый писатель-реалист. Ведь благополучие колхоза, его «передовые успехи» были обусловлены разбазариванием природы, уничтожением векового народного добра, притом не без личной выгоды и карьерных соображений. Самая предприимчивость колхозного «хозяина», с точки зрения Солженицына, только и может оттенить общее неблагополучие российского села; более того — «перетягивание одеяла на себя» делало положение соседнего Тальнова вовсе безысходным, а Матренин двор — погибающим, даже обреченным на вымирание.

Рассказ строится на противопоставлении бескорыстной, неимущей (как бы даже юродивой, а не просто нищей) Матрены жадным до всякого «добра» (в смысле — имущества, вещей), а потому и прижимистым, скаредным, алчным людям — Фаддею, деверю Матрены, ее золовкам, приемной дочери Кире с мужем и прочим родичам. Кругом почти все такие: и председатель колхоза, который разговаривает с людьми обо всем, кроме топлива, которого все ждут: «потому что сам он запасся»; и его жена, председательша, которая на колхозную работу приглашает Матрену, других инвалидов, а заплатить им за труд не может, предоставить для работы вилы или лопаты тоже не может; и соседний председатель, Горшков, в этом же ряду. Матрена — «нестяжатель». Не то чтобы она против какой бы то ни было собственности, скорее наоборот: сама собствен-

ность — против Матрены. На вопрос жильца, Игнатича, почему хозяйка коровы не держит, Матрена отвечает: «Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самую с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница мол теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух все в колхоз, все в колхоз, а себе уж из-под снегу — что за трава?..» Круг жизни замыкается: ни корова, ни сено, ни земля под огород, ни плата за работу Матрене не положены.

Когда уже Матрена умерла и Игнатичу пришлось переселиться к одной из ее золовок, у той не нашлось доброго слова об умершей, — и всё из-за пренебрежения Матрены к собственности: «...и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно...». В характеристике Матрены, как ее обосновывает Солженицын, доминируют слова: «не было», «не имела», «не гналась», — сплошное самоотречение, самоотверженность, самоограничение. И не ради какой-то похвалы, и не из аскетизма... Просто у Матрены — другая система ценностей: у всех есть, «а у нее не было»; все имели, «а она не имела»; «не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни»; «не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев»; «она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...» — вот и все, что осталось от Матрены на этом свете. Да и из-за оставшегося жалкого имущества — избы, горницы, сарая, забора, козы, — едва не передрались все Матренины сродственники. Примирили их лишь соображения хищника — если обратиться в суд, то «суд отдаст избу не тем и не другим, — а сельсовету».

Выбирая между «иметь» и «быть», солженицынская Матрена всегда предпочитала *быть*: быть доброй, отзывчивой, сердечной, общительной, незлопамятной, бескорыстной, трудолюбивой; предпочитала *давать* окружающим ее людям — знакомым и незнакомым, а не брать. Даже принимая свою нелепую и страшную смерть на железнодорожном переезде, она старалась «подсобить... мужикам», «в мужичьи дела мешалась». А те, кто застрелял на переезде, погубив Матрену и еще двоих, — и Фаддей, и «самоуверенный толстомордый» тракторист, сам погибший, — предпочитали *иметь*: один хотел за один раз «горницу» перевезти на новое место; другой — за одну ночь, за одну «ходку» трактора заработать. Жажда «иметь» оборачивалась против «быть» преступлением, смертью людей, попранием человеческих чувств, нравственных идеалов, гибелью собственной души. Так, один из главных виновников трагедии — Фаддей — трое суток после происшедшего на переезде, до самых похорон погибших, занимался тем, что пытался вернуть себе горницу или то, что от нее осталось на переезде. «Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была — спасти бревна горницы от огня и от козней Матрениных сестер».

Противопоставление Фаддея и Матрены в рассказе Солженицына приобретает символический смысл и превращается в своего рода авторскую философию жизни. Сопоставив характер, принципы, поведение Фаддея с другими тальновскими, рассказчик Игнатич приходит к неутешительному выводу: «...Фаддей был в деревне такой не один». Более того, само это явление — жажда собственности — оказывается, с точки зрения автора, национальным бедствием: «Что *добром* нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо». А вот душу, совесть, доверие к людям, дружелюбное к ним расположение, любовь потерять и не стыдно, и не глупо, и не жалко, — вот что страшно, вот что несправедливо и грешно, по убеждению Солженицына.

Что-то исказилось в представлениях народных за время советской власти — в отношении собственности, труда, правды, совести, человеческих взаимоотношений. Тетя

Маша, «единственная, кто искренно любил Матрену в этой деревне», «ее полувековая подруга», пришедшая в избу Матрены с горестной вестью о происшедшей на переезде трагедии, — и та, мешая свой рассказ со слезами, не забывает перед уходом обратиться к Игнатичу с просьбой забрать из сундучка Матренину вязанку, которую Матрена будто бы «после смерти прочила Таньке», Машиной дочери: «Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить». А Игнатичу вспоминается рассказ Матрены, как вернулся из венгерского плена, через три года после начала германской войны, жених Матрены, Фаддей, а она не дождалась его, вышла замуж за его родного брата Ефима. И сказал с порога Фаддей: «Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!» А Игнатич «живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях и топором замахнулся на Матрену». Считая Фаддея несомненным убийцей Матрены, рассказчик — после Матрениной смерти — так и видит «черного молодого Фаддея с занесенным топором»: «сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...». Фаддей в молодости и к Матрене отнесся как к *собственности*: *моё!* — и всю дальнейшую жизнь как бы взимает проценты за измену невесты, то избивая свою жену, тоже Матрену («вторую Матрену»), то требуя от Матрены отдать горницу младшей своей дочери (и приемной Матрениной) Кире. Впрочем, так и предполагалось, что жить Матрене осталось все равно недолго...

Жадность к «*добру*» (имуществу, материальным ценностям) и пренебрежение к настоящему *добру*, духовному, нравственному, нетленному, то есть к человеческой доброте, — вещи, накрепко между собой связанные, одна другую поддерживающие, стимулирующие. И дело тут не в *собственности*, не в отношении к чему-то как к *своему*, лично выстраданному, выношенному, продуманному и прочувствованному. Скорее наоборот: духовно-нравственное добро состоит в передаче, дарении чего-то *своего* другому человеку, дорогому тебе и близкому; приобретение же материального «добра» — это алкание *чужого*, превращение предметов, вещей, ценностей, принадлежавших кому-то другому, в свое распоряжение. Жажда чужого, собственно, и происходит от неимения своего, от отсутствия представлений о том, что есть свое, а что — чужое; от утраты навыков что-то делать в жизни для себя и, как говорит Матрена, — «по себе», то есть собственную волей, по своему доброму желанию, из личной заинтересованности.

Матрена рассказывает, например, Игнатичу, как организуется колхозная работа, на которую и ее, уже не числящуюся колхозницей, приглашают, и весьма бесцеремонно, со своими вилами: «Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да еще заведутся бабы, счета сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, *по себе* работали, так никакого *звуку* не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед покатыл, вот вечер подступил». Вот эта *работа «по себе»* и дала основание критикам из кочетовского «Октября» насаждать концепцию, что Солженицын, а вместе с ним и Твардовский, и «Новый мир» в целом «выражают кулацкие настроения». Эта точка зрения насторожила цэковских работников.

«Вот зачем вы печатаете «Матренин двор»? — рассуждал один из них. — Хотите показать, что все неблагополучно в сельском хозяйстве. А идет все это будто бы от ошибок, допущенных в коллективизацию».

На самом деле ни Солженицын, ни Твардовский в этом не сомневались.

Солженицын же шел в своих выводах дальше. С 1914 года начинается не только для Матрены, не только для русского села, но и для «всей земли нашей» «страшный выбор». «Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и снова падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся». Вот здесь-то и лежит начало развала — и в Матренином дворе, и во всей России. Отсюда пошли и безответная кротость Матрены, силой обстоятельств вынужденная осуществить свой страшный выбор, и дикая озлоблен-

ность и жадность обделенного жизнью Фаддея, стремящегося хоть как-то, уродливо, суетливо, ожесточенно, оторвать что-то для себя, в качестве компенсации за утраченное (и это тоже страшный выбор — даже еще страшнее!). А там — и весь «социалистический выбор» страны, разделивший народ на «руководителей» и «руководимых», на «хозяев жизни» и поработанных ею, а собственно «руководимых» и поработанных — на страсто-терпиц Матрен и агрессивных мелкотравчатых хищников Фаддеев.

Все критики «Матренина двора» (а их становилось с каждым месяцем все больше и больше; они только входили во вкус критики Солженицына), конечно, прекрасно понимали, что рассказ писателя, с его Матреной, Фаддеем, Игнатичем, какой-то «древней», все знающей старухой, воплощающей вечность народной жизни, ее конечную мудрость (она изрекает, только появившись в избе Матрены: «Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю», а потом — уже после похорон и поминок Матрены — взирает «сверху», с печи, «немо, осуждающе на неприлично-оживленную пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодежь»), — это и есть пресловутая «правда жизни», настоящие «народные характеры». Но «партийная правда» гласила общие, расхожие, нормативные истины об облике «настоящего советского человека» — активного, целеустремленного, героического, оптимистически смотрящего в будущее «строителя коммунизма». И было ясно, что на роль такого Матрена не годится, как не годился и Иван Денисович, да и все персонажи Солженицына.

Один из таких верноподданных критиков, А. Дымшиц, писал в «Огоньке»:

«Да, тяжело жила в ту пору деревня, голодно жила, во многих селах оставила свой страшный след вражеская оккупация. Видел я именно в 1953 году деревню, оставлявшую очень грустные впечатления. Но в ней же я видел крестьян по-настоящему деятельных, почувствовал золотые сердца, уловил возможности улучшения жизни, которые в скором времени развернулись в новых исторических условиях. И это был не просто житейский случай, а жизненная правда».

И, как будто солженицынская Матрена не являет собой пример такого золотого сердца, критик продолжал:

«У А. Солженицына же все наоборот: жизненная правда обужена до житейского случая. И нельзя согласиться с писателем, что тип народного праведника, который он поэтизирует в образе Матрены, есть основа и опора всей земли нашей. Самый тип этот, если он и дожил до пятидесяти лет, есть не что иное, как анахронизм».

Другой, Вс. Сурганов, подхватывал в журнале «Москва»:

«В конце концов ведь не столько облик солженицынской Матрены вызывает у нас внутренний душевный отпор, сколько откровенное авторское любование нищенским бескорытием и не менее откровенное стремление вознести и противопоставить его хищности собственника, гнездящейся в окружающих ее, близких ей людях. Но ведь оба эти качества — лишь две стороны одной медали: одно вытекает из другого!»

Третий критик из кочетовского «Октября», Л. Крячко, перепевая сказанное другими, предшествовавшими ей, уже прямо констатировала:

«Матрена и Фаддей — две стороны одной медали, и ясно, что характер Матрены — анахронизм, не имеющий ничего общего с активным, целеустремленным характером нашего современника».

Комментируя эти «откровения», В. Лакшин, критик «Нового мира», писал:

«Хорошо известна точка зрения, согласно которой в жизни нет и не должно быть многообразия характеров, а есть один монолитный — “активный и целеустремленный” — характер нашего современника. Собственно, в жизни-то, может быть, встречаются и другие — только литературе не след ими интересоваться. Других мы попросту знать не хотим — что нам до какой-то большой и несчастной старухи?»

Еще один критик, Л. Жуховицкий, внешне как будто пытающийся «защитить» рассказ Солженицына, на самом деле приговаривает его вместе с героиней:

«...независимо от первоначальных намерений художника, рассказ показал бессмысленность, обреченность и даже аморальность праведнической морали, несмотря на прекрасные душевные качества самой Матрены. И не желание подражать ей вызывает великолепно написанный образ старой крестьянки, а мысли довольно мрачные. Сколько зла на планете творится послушными руками таких вот праведников!»

Ничего не скажешь, договорились до точки, до абсурда: Матрена — это и есть, оказывается, главный носитель социального и нравственного зла — в стране и мире; хуже даже, чем Фаддей! «Защитник» Солженицына не так уж далеко ушел от его прямого противника — В. Бушина, который в журнале «Подъем» в статье под названием «Герой — жизнь — правда» спорил с концепцией «праведничества» Солженицына, проявившейся в рассказе «Матренин двор», и ратовал за подлинных героев, борцов, не склонных смиряться с несправедливостью и злом:

«Без них-то и не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Обобщил дискуссию вокруг произведений Солженицына, подвел теоретическую базу под нее Ю. Барабаш, считавшийся крупным специалистом по проблеме «народности» (и, конечно, партийности). В программной статье «“Руководители”, “руководимые” и хозяева жизни», опубликованной в «Литературной газете», критик очень ловко, даже виртуозно, опроверг народность рассказов Солженицына и выведенных в них типов и демагогически обвинил самого писателя в... оправдании сталинизма и тоталитарного строя (термины такие, понятное дело, в то время еще не употреблялись).

«Еще Белинский саркастически отзывался о том “сермяжно-лапотном мнении”, согласно которому “истинная национальность скрывается только под зипуном в курной избе”, а между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-либо похожего на народность. Слова эти невольно приходят на ум, когда сталкиваешься сегодня с утверждением, что “об академниках-селекционерах, о секретарях райкомов, о главных агрономах и директорах МТС” писать “легче”, чем “об Иванах Денисовичах и тетках Матренах”. <...> Никак не можешь примириться с одним: с попыткой сделать Ивана Денисовича чуть ли не знаменем советской литературы последних лет, воплощением современного народного характера, героем-эталонном, с которым якобы связано все то новое, знаменательное, истинно живое и народное, что пришло в нашу литературу после поворотного XX съезда партии. <...> Хозяин и строитель жизни, трудом своим завоевавший право на это высокое звание... Такова наша концепция человека, такова наша концепция народного характера. Теория “руководителей” и “руководимых” находится с ней в глубоком, принципиальном противоречии. Она не так уж безобидна, эта теория. Возникшая как реакция на прежние догмы, она сама отмечена печатью старых, нормативных, догматических представлений о так называемом “простом” человеке как о “винтике” и бесконечно далека от действительных процессов, происходящих в советской литературе последнего десятилетия. Об этом надо сказать прямо и решительно».

Таким образом, не только солженицынское «не иметь», но и его «быть» оказались несовместимыми с официальным пониманием народности, правды, нравственности. В Матрене, вкупе с Иваном Денисовичем, увидели, скорее, *народное тихое сопротивление* — революции, советской власти, ее историческим преобразованиям (коллективизация, индустриализация, научно-технический прогресс, политическое просвещение масс, единодушное одобрение политики партии и правительства и т. п.) и, осудив, осознав опасность «низовой правды», вернулись к исходным идеям «положительного героя» советской литературы (Корчагин, Левинсон, Давыдов, Мересьев и др.).

И потом, бытие Ивана Денисовича и Матрены, подчас неотделимое от их скудного и тяжелого быта, — это непрерывное, неизбывное страдание, претерпевание какого-то гнета, каких-то тягот жизни, лишений, происходящих из общего устройства жизни в совет-

ской России. Мало общей бедности и заброшенности, — засилие бюрократии, бумаготворчества, формализма теснит Матрену. Не только добывание пенсии, но и лечение в местной больнице оборачивается для Матрены бесконечными хождениями, ожиданиями, просьбами, нередко не ведущими ни к какому результату. Характерно обычное присловье Матрены, безобидная жалоба на жизнь: «Притесняют меня, Игнатич... Иззаботилась я». Матрена в конце концов забрасывает обивание государственных порогов, предпочитая «не столам конторским» кланяться, а «лесным кустам», ища милости у природы, а не у людей. В этом несчастном житье-бытье много сходного с подневольной жизнью Ивана Денисовича в ГУЛАГе. Да и то верно: колхозная деревня для Матрены (да и для Фаддея тоже) — своего рода «мягкий ГУЛАГ» — с теми же «работягами» и «придурками», «начкарами» и «контролерами», «надзирателями» и «старшими барака»... Система-то одна!

Так, начиная с публикации «Матренина двора», надзирателям над советской литературой стало ясно, что в лице Солженицына они имеют очень сильного, закаленного в борьбе, убежденного врага. А, как известно, «если враг не сдается, его уничтожают». И машина «уничтожения» писателя заработала, не заставила себя ждать...

Впереди была всемирная слава, борьба с Союзом писателей и исключение из него (1969), публикации в самиздате, Нобелевская премия по литературе (1970) с формулировкой: «За ту этическую силу, с какой он развивает бесценные традиции русской литературы», изъятые КГБ экземпляры «Архипелага» и издание книги за рубежом, арест и изгнание Солженицына (13 февраля 1974) — и все это в сопровождении бешеной травли и преследований.